

М. Н. Виролайнен
СЕВЕРО-ЮГ РОССИИ

Пока Крым существовал в составе России, он осмыслялся как полуденный край полноценной державы, как южный контраст ее северной столицы. Но эта простая оппозиция севера и юга, как и самый факт их противостояния, не оставались однозначными на протяжении XVIII, XIX и XX веков. Задача моей статьи — проследить исторические корни и исторические метаморфозы взаимоотношений севера и юга России, а также их парадоксальное совмещение в рамках меняющейся культурной мифологии.

Южный ореол Крыма был, разумеется, связан не только с географическими параметрами. Поэтами трех веков крымский юг воспевался как русский фрагмент античной Греции. Среди других исторических напластований, связанных с Крымом, греческая доминанта выделилась сразу по его завоеванию — благодаря той мифологической и символической нагрузке, которой был наделен этот культурный топос в екатерининское царствование. Символическое измерение «крымского мифа», сложившегося в XVIII веке, подробно проанализировано в исследованиях А. Л. Зорина и О. М. Гончаровой¹, на выводы которых я позволю себе опереться.

¹ См.: Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001. С. 31–64; Гончарова О. М. 1) «Греческий текст» в русской культуре конца XVIII века // Культура и текст. СПб.; Барнаул, 1996. С. 94–100; 2) Греция / Византия как «текст» и «контекст» русской культуры XVIII века // Литературоведение XXI века: Тексты и контексты русской литературы: Материалы третьей международной конференции молодых ученых-филологов. СПб.; Мюнхен, 2001. С. 8–30; 3) Власть традиции и «новая Россия» в литературном сознании второй половины XVIII века.

Присоединение Крыма осмыслялось в рамках «греческого проекта» Екатерины II. Этот проект предполагал взятие Константинополя и создание автономной греческой империи под скипетром внука Екатерины, не случайно нареченного Константином. На петербургский трон предстояло взойти его брату Александру — и таким образом две державы, северная и южная, не посягая на суверенность друг друга, должны были составить братский союз. «Греческий проект» остался утопией, реализованной лишь в самой малой, собственно говоря, крымской своей части, и потому на Крым в большой степени оказалась перенесенной символическая нагрузка всего проекта.

Как известно, идея завоевания Царьграда начала тревожить русское сознание задолго до XVIII века и даже задолго до того, как столица Византии была захвачена турками. Актуальное для политических концепций Киевской, а затем Московской Руси завоевание Царьграда мыслилось как овладение сакральной и в этом смысле царственной греческой силой, которая должна сообщиться Руси. Согласно исторической мифологии, мощные фигуры киевских властителей — Олега Вещего, княгини Ольги, Владимира Святославича — обретали сакральный ореол через акты демонстрации силы, проявленной по отношению к Царьграду, семантическим эквивалентом которого могла выступать и одна из греческих областей: Корсунь, взятый Владимиром Святославичем, или Фракия, где успешно воевал Владимир Мономах, именно за это, как гласит предание, увенчанный Мономаховым венцом². С учетом такой многовековой традиции не удивительно, что осуществленное в XVIII веке завоевание Крыма и, в частности, Херсонеса Таврического — того самого Корсуна, что был взят князем Владимиром, — могло трактоваться как приобщение к греческой силе. Только если для Киевской и Московской Руси эта сила была связана исключительно с христианством и с православием, то для петербургского царства Византия одновременно выступала и как

СПб., 2004. С. 78–81; 4) Крым как Византия (вторая половина XVIII в.) // Наст. изд. С. 7–22.

² См.: Плеханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 175–176.

наследница античной Греции. Вольтер, в переписке с которым Екатерина обсуждала подробности своего «греческого проекта», с особой настойчивостью говорил о том, что России предстоит возродить античное наследие.

Эти идеи получили весьма широкое распространение в литературе XVIII века. В текстах Потемкина, в одах Хераскова и Петрова выстраивался целый ряд отождествлений. Античная Греция трактовалась как тождественная Византии, Россия — как новое воплощение их обеих. Завоевание Крыма стало единственным практическим подтверждением этой мифологии, и Крым начал представлять за греческий мир в составе России³.

Итак, крымская мифология XVIII века опиралась на предания, уходящие корнями к начальным для Руси временам, к «Повести временных лет». Но греческая мифологема, сложившаяся в этом тексте XI века, была теснейше сопряжена с другой мифологемой: с варяжским мифом, с которым она составляла единое целое. Мне уже приходилось об этом писать, поэтому ограничусь сейчас самыми краткими замечаниями. Название знаменитого пути из Варяг в Греки, связывавшего Понтийское (Черное) море с морем Варяжским, указывало не только на географическую реалию — водный путь связывал два пограничных Руси мира, с каждым из которых была сопряжена своя сакральная сила. И если от греков Русь получила христианство, то сила, полученная от варягов, не ограничивалась силой порядка и государственности. Варяжская сила была связана с мощным архаически-магическим началом, обладание которым проявил великий варяг Олег Вещий, самое прозвище которого означает: «волхв», «кудесник». Даже креститель Руси, Владимир, должен был, прежде чем завоевать Корсунь, а с ним — руку греческой царевны Анны и крещение, захватить другой город — Полоцк, где княжил варяг Рогволод, совладать с дочерью Рогволода Рогнедой и тем подтвердить свою способность к взаимодействию

³ Забавно, что в то же самое время он осмыслялся как исконно русская территория: «Херсонес, древний город князей российских, возвращен России», — писал Державин в «Объяснениях на сочинения» (*Державин Г. Р. Соч. СПб., 1866. Т. 3. С. 603*).

с силой варяжской. Так складывался двусоставный — варяжско-греческий, северо-южный сюжет, в который вписывалась сакральная история Руси. Необходимость обладать обеими силами — варяжской и греческой — подтверждалась не только «Повестью временных лет». Та же мифология актуализирована в Киево-Печерском патерике, где аналогичный сюжет развернут относительно истории церкви, у основания которой стоят выходцы из варяжской и греческой земли⁴.

Ориентация на два разноприродных сакральных центра, заявленная в исторической мифологии XI века, находит в XVIII столетии свои отдаленные отзвуки. Ведь столицами двух империй должны были, по планам Екатерины, стать два города, расположение которых отмечало крайние точки пути из Варяг в Греки: Петербург, стоящий на Балтийском, то есть Варяжском, море, и Константинополь. Коль скоро эта политическая утопия свелась, в сущности, к завоеванию Крыма, на него и была перенесена соответствующая символическая нагрузка. Крым стал русской Грецией не только потому, что был некогда колонизирован греками, но и потому, что репрезентировал Грецию в контексте политической мифологии. С этого момента уже Крым, а не Константинополь стал составлять южную пару северной столицы. В переписке Потемкина и Екатерины Херсон именуется столицей полуденной, деятельность Екатерины в Крыму сопоставляется с деятельностью Петра на берегах Балтики, петровскому парадизу противопоставляется эдемская семантика, настоятельно ассоциируемая с Крымом — этим подлинно земным раем. Так продолжала жить идея двух ориентиров — северного и южного — относительно которых разворачивалось обновление и строительство страны.

Обратим, однако, внимание на одно существенное отличие от киевской мифологии, для которой варяжский и греческий миры были запредельны Руси: с момента завоевания Крыма имперская мифология XVIII века располагает северным и южным полюсами русского мира как крайними пределами собственного *внутреннего* пространства. И если с варягами и греками со времен Олега Вещего

⁴ Подробнее см.: Виролайнен М. Н. Исторические метаморфозы русской словесности. СПб., 2007. С. 64–104.

взаимодействовал Киев, ставший центром Руси, то теперь, в XVIII веке, южный и северный полюса русского мира сами являются его центрами, между которыми нет посредничества. Трехчленная структура превратилась в двухчленную, и произошло то, что обычно и происходит в подобных случаях: полюса начали тяготеть друг к другу. Если Константинополь и Петербург мыслились как два независимых центра, то деятельность, развернутая в Крыму, была связана с определенной надеждой на перемещение сюда столицы. Столь дерзко задуманное соперничество не удалось, петровская твердыня осталась непоколебленной. И, коль скоро русский центр не переместился на юг, то в качестве своеобразной компенсации этого произошло символическое перемещение Тавриды в Петербург. Я имею в виду Таврический дворец и Таврический сад светлейшего князя Потемкина и одну из грандиознейших символических акций эпохи — праздник, устроенный им здесь в 1791 году, праздник, во время которого пространство таврического эдема было развернуто прямо посреди петровского парадиза.

Из поэзии начала XIX века геополитическая семантика, столь важная для поэтов XVIII века, постепенно уходит вместе с государственной темой как таковой. Но мифологизированная география остается по-прежнему важной. Доминирующим для поэтической репутации Крыма становится греческий и райский ореол Тавриды. Русские стихи XIX и XX столетий воспевают неповторимые черты полуденного края с его роскошной, столь отличной от северной, природой. Контраст с севером становится существенным лейтмотивом — и тем важнее на фоне этого контраста оказывается парадоксальное совмещение южной и северной топики, со всей очевидностью впервые произошедшее в рамках творчества Константина Батюшкова. Особую парадоксальность этому совмещению придает то обстоятельство, что различие северной и южной топики имело маркированную значимость в его поэтическом мире.

В программном стихотворении «Мечта», которым завершается в «Опытах» Батюшкова раздел элегий, отчетливо намечено трех-

частное деление поэтической вселенной: оссианический север — греко-римский и итальянский юг, воспринятый через Анакреона, Горация и Петрарку, — и русские муромские леса, разделяющие северную и южную сферу. Главным и пафосным становится равная доступность для поэта обоих полюсов, отчетливо различных, но лишенных благодаря силе мечты и пространственной, и временной удаленности.

Сходные контуры поэтической географии намечены и в разделе элегий как целом. Внутренний сюжет этого раздела — судьба Одиссея, которая служит метафорой личной и творческой судьбы Батюшкова, с его скитаниями по Европе и одновременно — по поэтическим мирам. Полюса странствий Одиссея батюшковских элегий, которому не дано, в отличие от греческого героя, желанной встречи с отчизной, — те же оссианический север и античный, греко-римский юг. Античная топика доминирует, но и северные константы отчетливо и симметрично маркированы почти в самом начале раздела, в элегии «На развалинах замка в Швеции», и почти в самом его конце, в странном оссианическом фрагменте элегии «Мечта».

Посреди этого зыбкого мира странствий, этого поэтического полета по сменяющим друг друга мирам, возникает одна точка утопически устойчивой жизни, неизменно радостной и стабильной в вечно движущемся круговороте времен года. Точка эта — Таврида, именем которой названо одно из немногих «счастливых» стихотворений всего цикла. Еще ни разу не побывавший в Крыму, Батюшков рисует его самыми характерными для крымской темы чертами — как «греческое» южное пространство, противопоставленное Северной Пальмире. Кроме того, Таврида становится у Батюшкова горацианским эталоном сельской жизни, удаленной от городской суеты, — греческим топосом, где осуществляется античный идеал. Лишь один оттенок ставит под сомнение безоблачность таврического счастья:

Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком,
Забудем имена фортуны и честей...⁵

⁵ Батюшков К. Н. *Опыты в стихах и прозе* // Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 187.

Этот, введенный без всякого нажима, мотив забвения — цены, которую нужно заплатить за переселение в Тавриду, напоминает о летейских водах, и райская семантика Крыма меняет оттенки значений, заставляя помнить, что Элизий — лишь область Аида. И тогда уже не столь неожиданным становится то, что сразу вслед за «Тавридой» Батюшков поместил стихотворение «Судьба Одиссея» с его трагическими финальными словами: «Проснулся он: и что ж? отчизны не познал»⁶.

Богатая разработка поэтического юга получила в творчестве Батюшкова и свою северную рифму. Именно с Батюшкова начинается русская поэтизация Финляндии, только что вошедшей в состав России. «Финский текст» русской литературы вообще составляет отчетливую пару ее «крымскому тексту». В обоих случаях речь идет о поэтически мифологизированном освоении края, бывшего за пределами России, а теперь оказавшегося внутри ее политической карты. Участник финской кампании, Батюшков продельывает по отношению к Финляндии то же, что русские поэты XVIII века по отношению к Крыму. Как Таврида стала тогда русской Грецией, и шире — русской южной Европой, так Финляндия становится теперь тем русским севером, который конденсирует в себе весь скандинавский мир.

Впрочем, если южный миф имел под собой исторические опоры, то северный миф сложился в результате ошибок, правда весьма симптоматичных. Не знакомый с реальной историей края, Батюшков искренне убежден в том, что древними обитателями Финляндии были скандинавы⁷, что здесь развивалась скальдическая поэзия. Недостаток сведений восполнялся общезначимыми культурными символами.

Ж. де Сталь, формулируя в книге «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями» различия между северной и южной поэзией, указывала на Гомера как на прообраз первой,

⁶ Там же. С. 188.

⁷ Подобная точка зрения могла основываться на весьма авторитетном мнении: на тождестве варягов и финнов настаивал В. Н. Татищев (см.: *Татищев В. Н. История российская*: В 7 т. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 291–292).

на Оссиана — как на прообраз второй⁸. Батюшков явно усвоил этот урок. Вскоре по прибытии в Финляндию он просит прислать ему Оссиана⁹. Финляндия, этот чуждый, незнакомый мир, должен быть интегрирован применимыми к нему культурными универсалиями — только тогда он откроет свое неповторимое своеобразие. Работая над включенной в «Опыты» прозаической «Картиной Финляндии», Батюшков обращается к известной ему по литературе кельтской и скандинавской мифологии, в ход идет даже популярный очерк Ласепада о природе и древней мифологии приполярных стран.

Результат оказывается парадоксальным. С одной стороны, Финляндия предстает неким обобщенным «севером», населенным богами, в которых здесь никогда не веровали, и выделяющимся среди других северных стран лишь тем, что к нему приобщились русские. С другой стороны, именно это обобщающее осмысление вписывает Финляндию в культурную географию, именно мифологизация превращает ее в культурный топос, впервые намечает общие контуры той поэтической легенды о Финляндии, которую впоследствии разработал вслед за Батюшковым русский романтизм.

Но все это — лишь одна стороны дела. Другая заключается в том, что работа с большими культурными универсалиями — с обобщенным Севером и обобщенным Югом — рано или поздно приводит к тому, что универсалии эти начинают обнаруживать свое общее содержание. Точнее — его начинает обнаруживать тот, кто склонен к универсализации мышления. Именно это произошло с Батюшковым, когда он принял за развить оставшийся на уровне плана замысел северной поэмы¹⁰, по-видимому задуманной как малый

⁸ «Я убеждена, что существуют две совершенно различные литературы: одна рождена народами юга и другая — которой жизнь дали народы севера; у истоков первой стоит Гомер, у истоков второй — Оссиан», — писала она в XI главе, посвященной литературе Севера (*Сталь Ж. де. О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями* / Пер. с фр. В. А. Мильчиной. М., 1989. С. 184–185).

⁹ См. его письмо к Н. И. Гнедичу от 23 декабря 1808 г. (*Батюшков К. Н. Соч. Т. 2. С. 83*).

¹⁰ См.: *Батюшков К. Н. <План северной поэмы-сказки> // Соч. Т. 2. С. 56–57.*

эпос типа поэмы Эвариста Парни «Иснель и Аслега». Эту северную поэму Батюшков планировал осуществить как перелицовку южного эпоса: коллизии будут заимствованы из Гомера, Тассо, Ариосто, а атмосфера воссоздана по Оссиану.

В чрезвычайно любопытном батюшковском плане поэмы снова сходятся варяги и греки. В герои избран Синеус, брат Рюрика. Варягов Батюшков думает представить как поданных в северном ключе «ахейцев Омировых», то есть Гомеровых, а их противников — как троянцев. И переодетые в северные одежды греки, и сами варяги, по сути дела, оказываются у Батюшкова русскими. Он начинает с того, что ему нужен Синеус или другой герой, принадлежащий России. Интегрированные таким образом в состав России, варяги и греки начинают жить в общем мифологизированном поэтическом пространстве, в рамках которого отстояние Севера и Юга оказывается более чем условным. Знаменательна в этом отношении зафиксированная в плане фраза Батюшкова: «Театром <действия> выбираю берега Варяжского моря, провинцию Скифию»¹¹. Так древние племена Северного Причерноморья оказываются укорененными на берегах Балтийского моря. Допуская эту ошибку, Батюшков опирался на восходящие к античности исторические представления, отождествлявшие скифов с венедами, жившими на Балтийском море, и с сарматами, к которым Татищев причислял финнов¹². Основоположник норманнской теории Г. С. Байер тоже отождествлял скифов с финнами, а северную Россию — со Скифией¹³. Карамзину в «Истории государства Российского» пришлось уделить немало внимание опровержению подобных взглядов¹⁴, но для Батюшкова они еще оставались авторитетными.

В поэтическом сознании Батюшкова ошибки историков получают особый смысл: Север и Юг, Оссиан и Гомер смыкаются, грече-

¹¹ Там же. С. 56.

¹² См.: Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. С. 250.

¹³ См.: Bayer T. S. Origines Russicae // Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. Petropoli, 1741. Т. 8. Р. 390 pass.

¹⁴ См.: Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М., 1989. Т. 1. С. 35, 177, 182, 193, 201, 213.

ский север переносится на север России, который отныне оказывается населенным и скифами, и гиперборейями. Так крымские реалии прокладывают себе путь в петербургский мир, где в XX веке они обретут новую жизнь в самоопределениях поэтов, в названиях журналов и издательств.

В эпоху Серебряного века связанный с Крымом северо-южный сюжет русской поэзии получит свое полное воплощение в творчестве Мандельштама, в книге «*Tristia*», наследующей миру батушковских элегий. Именно в этой книге одним из центральных станет связанный с Мариной Цветаевой коктейбельский мотив. Тавриде Мандельштама в настоящем издании посвящена специальная статья Лены Силард. Я коснусь этой темы только в связи с затронутой мной проблематикой.

Как и в батушковских элегиях, в «*Tristia*» Мандельштама происходит путешествие по культурным мирам, включая оссианический север; как и у Батушкова, античная, греко-римская доминанта здесь — одна из важнейших, как и у Батушкова, в книгу включен крымский фрагмент. Если «Камень» завершается расиновой «Федрой», то «*Tristia*» открываются «Федрой» античной. Следующее стихотворение, «Зверинец», обращенное к воюющим европейским державам, то есть имеющее остро современное звучание, сочетает его с характерной для XVIII века геральдической семантикой¹ и наращивает ее, отталкиваясь от звучания «козлиной песни» — греческой трагедии:

Козлиным голосом опять
Поют косматые свирели².

Взаимоналожение времен сменяется в третьем стихотворении «Тристий» взаимонапльвом географических реалий. Здесь возни-

¹ Ср. первоначальные варианты заглавия: «Ода миру во время войны», «Ода миру», «Ода воюющим державам», «Мир (Ода)» и подзаголовок «Ода» при первой публикации стихотворения (см.: Мандельштам О. Э. Соч. М., 1990. Т. 1. С. 473–474; коммент. П. М. Нерлера).

² Мандельштам О. Э. Соч. Т. 1. С. 108.

кает «Флоренция в Москве», а Аврора является «с русским именем и в шубке меховой»³, напоминая Тассову Армиду и Ариостову Альцину, которых Батюшков намеревался переодеть в северные одежды. Это, третье, стихотворение уже имеет крымскую отнесенность: оно посвящено Цветаевой, их встрече в Москве, случившейся после кокетельского знакомства в 1915 году.

Подобные взаимонаплывы и взаимоналожения культурных пространств и культурных эпох явственно происходят на протяжении всей книги «Тристий» — и задают тот контекст, в рамках которого переплетаются и смыкаются в этой книге Север и Юг, балтийские и черноморские волны. Крымским стихам Мандельштама, насыщенным античными, греческими знаками Тавриды, в композиции книги сопутствуют северные, ярко выраженные петербургские стихи, в которые с откровенностью проникает таврическая и эллинизированная семантика. К ней отсылает уже самое имя «Петрополь», которым настойчиво именуется здесь Петербург, напоминая имена таврических городов, нареченных в екатерининскую эпоху. Невская волна ассоциируется с черноморской медузой⁴, державная власть над прозрачным Петрополем оспаривается между Афиной и Прозерпиной, и преимущество отдается богине Аида⁵ — той, которой Пушкин посвятил стихи, начатые на юге и дописанные в Михайловском. Тор-

³ Мандельштам О. Э. «В разноголосице девического хора...» // Там же. С. 109.

⁴ Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
(Там же. С. 111).

⁵ В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь властвуешь не ты, а Прозерпина.
(Там же. С. 112).

жественный выезд ее из царства мертвых — несомненно, крымская тема, поскольку с Тавридой, этой северной Грецией, ассоциировался и путь в Аид. У Мандельштама же царством Прозерпины становится Петрополь. Античная «безрукая победа» в стихотворении «Кассандре» помещена у него в бредовый ужас русской зачумленной зимы, а роковому скифскому празднику суждено разыграться на берегу Невы⁶. В одном из списков стихотворения вместо слов «зачумленная зима» стоит «гиперборейская чума»⁷. Так далекий север Греции еще раз продлевают свои владения до Петербурга. Так в текстах «Тристий» еще раз осуществляется однажды произведенное Потемкиным вторжение Тавриды в Петербург.

Воссоединение этих культурных топосов происходило не только у Мандельштама. Показательным, например, является брюсовский цикл «У моря» с пометой у заглавия: «Крым 1898—1899 г. Ревель (Катериненталь) 1900 г.». Первоначально цикл состоял из двух частей. Одна называлась «Черное море», другая — «Балтика». Имелись и иные затем отброшенные симметричные подзаголовки: «Картинки Крыма», «Картинки Ревеля»⁸. В окончательном варианте это деление было упразднено, и в цикле, получившем единое название «У моря», переход от созерцания южных волн к созерцанию северных становился почти незаметным. Другой выразительный пример — любовь Бунина к зимним крымским пейзажам. В этом случае в крымские стихи проникает северная реальность.

⁶ Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы —
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.

Но, если эта жизнь — необходимость бреда
И корабельный лес — высокие дома, —
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.

(Мандельштам О. Э. Соч. Т. 1. С. 119).

⁷ Список продиктован А. А. Ахматовой, к которой обращено стихотворение, В. Я. Виленкину — см.: Там же. С. 480; коммент. П. М. Нерлера.

⁸ Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 162, 593—594; примеч. М. В. Васильева, Р. Л. Щербакова.

Но только у Мандельштама подобное слияние подвергнуто культурной рефлексии. С одной стороны, оно оценено как благотворное. Оспаривая Батюшкова, Мандельштам завершает одно из своих таврических стихотворений строкой: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный»⁹. С другой стороны, эта наполненность и даже исполненность насытивших друг друга пространств и времен¹⁰ — лишь одна из возможностей взаимосотнесения культур. Другая, противоположная, — их решительное размежевание — тоже испробована Мандельштамом. В единственном стихотворении «Тристи́й», имеющем оссиановский отпечаток, северные скальды только во сне видят воздух юга, который для них — волшебство *чужого* неба, отвергаемого их подругами¹¹. А в повести «Феодосия», где метафорическое взаимопроникновение северного и южного пространств сменяется почти буквальноей реализацией этой метафоры и Черное море подступает к изголовью Петербурга, слияние севера и юга отнюдь не имеет положительной коннотации.

Понятно, что слитный поэтический *Североюг* — порождение имперской реальности, стремящейся вобрать в себя, интериоризировать запредельные ей пространства — будь то физические пространства Крыма или Финляндии или духовные области северной или южной ноосферы. Интегрированные в состав общего мира, эти полярные области сомкнулись внутри ставшего единым контекста, безусловно обогатив его. Но имелась и обратная сторона этого процесса. Картина, возникающая в «Феодосии» Мандельштама, имеет

⁹ Мандельштам О. Э. «Золотистого меда струя из бутылки текла...» // Соч. Т. 1. С. 116.

¹⁰ См. об этом в статье Лены Силард в наст. изд.

¹¹ Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любви
Янтарь, пожары и пиры.

Им только снится воздух юга —
Чужого неба волшебство, —
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.
(Мандельштам О. Э. Соч. Т. 1. С. 118)

почти апокалиптический характер: «Черное море надвинулось до самой Невы; густые, как деготь, волны его лизали плиты Исаакия, с траурной пеной разбивались о ступени Сената». «Самое главное в этом сомнамбулическом ландшафте, — пишет Мандельштам, — был провал, образовавшийся на месте России»¹². Исаакий, Сенат... Петербургское наводнение описано в этом фрагменте в декорациях пушкинского «Медного всадника», но на Сенатской площади, затопленной не балтийскими, а черноморскими волнами, отсутствует ключевая деталь городского пейзажа «Петербургской повести»: здесь нет памятника Петру. Отсутствие императора эквивалентно исчезновению империи. Все это объяснимо политической ситуацией белого юга и красного севера, в которой писалась «Феодосия», — объяснимо, но не сводимо к ней.

Ибо взаимоналожение Севера и Юга — этот мощный тектонический сдвиг, произошедший в мифопоэтическом пространстве, — стал не только продуктивным, но и катастрофическим следствием процессов, хоть и порожденных имперским духом, но пошедших гораздо дальше любых политических амбиций в сторону универсализации мышления и сознания, а затем — в сторону глобализации жизненного пространства. И если в поэме XIX века балтийские волны в конце концов смиряются и отступают от Петербурга, то в нарисованной Мандельштамом картине отступления черноморских волн от северной столицы не предвидится.

¹² Мандельштам О. Э. Соч. Т. 2. С. 56.